

М. В. Новиков, Т. Б. Перфилова

Студенческие волнения накануне «эпохи Великих реформ»

В статье рассматривается проблема рефлексии студентов российских университетов на конец эпохи императора Николая I и связанных с этим событием надежд на позитивные изменения в жизни высшей школы России.

Ключевые слова: студенческое движение, студенческое самоуправление, протестные настроения, благотворительные кассы, научно-литературные объединения, студенческие сходки, академические обязанности, вседозволенность, новые правила поведения студентов.

M. V. Novikov, T. B. Perfilova

Student's Disorders on the Eve of "the Era of Great Reforms"

In the article is regarded the problem of reflection of students of the Russian universities in the end of the epoch of Emperor Nikolay I and connected with this event hopes onto positive changes in life of the higher school of Russia.

Keywords: students' movement, students' self-government, protest moods, charitable cash desks, scientific and literary associations, students' meeting, academic duties, permissiveness, new rules of students' behaviour.

В истории студенческого движения изучаемого периода можно выделить несколько этапов.

В 1855–1857 гг. появились первые попытки студентов противопоставить себя университетской администрации путем создания самостоятельных организационных структур, покоившихся на идее самоуправления и принципе выборного начала. Формами общестуденческих организаций, воплотивших корпоративный дух студенчества, стали библиотеки, «читальни», благотворительные кассы, научно-литературные объединения, судебные разбирательства, сходки.

Неподконтрольные университетскому начальству студенческие библиотеки появились в университетах к 1856 г. Они комплектовались из периодических изданий и востребованной студентами научной литературы, отсутствовавших в казенных хранилищах. Здесь можно было встретить запрещенные и нелегальные издания, переписанные от руки или литографированные силами студентов [19, с. 33]. При библиотеках возникли «читальни», которые вскоре превратились в университетские клубы, предназначенные для товарищеских бесед, литературных и политических диспутов, сходок «землячеств» – уроженцев одной области или региона, прибывавших в университеты из отдаленных от них уголков России [29, с. 199]. Р. Г. Эймонтова приводит сведения о том, что под «личиною библиотек» позже будут

скрываться тайные революционные общества студентов [38, с. 261].

Большое распространение в университетских центрах получили и студенческие кассы взаимопомощи, пополнявшиеся добровольными взносами студентов, пожертвованиями частных лиц, доходами от литературных вечеров, спектаклей, концертов артистов-благотворителей, диспутов и публичных лекций профессоров¹ [30, с. 197].

За первые полтора года существования такой кассы в С.-Петербургском университете (с 1857 по 1859 г.) «недостаточным» юношам было выдано девять тысяч рублей, в то время как правление университета за тот же период смогло отыскать на стипендии и пособия студентам только семь тысяч сто шестьдесят рублей [19, с. 32, 33].

В некоторых университетах (С.-Петербургском, Казанском, Киевском) был создан студенческий суд, на котором выбранные на собраниях судьи, прокуроры и адвокаты, присяжные и свидетели разбирали проступки своих товарищей, а также конфликты, возникавшие между студенческой молодежью и посторонними лицами. Виновных могли арестовывать и подвергать заключению. Суд имел право налагать взыскания и даже исключать из университета. Приговоры студенческого суда не подлежали обжалованию попечителя или инспектора [13, с. 16; 19, с. 34].

Когда у студентов зародилась инициатива издавать свои сборники и рукописные журналы,

назрела необходимость избирать редакторов и депутатов от каждого факультета для заведования кассой, а это, в свою очередь, вызвало к жизни студенческие сходки [13, с. 13, 15]. Сходки никогда не были легализованы, но допускались университетским начальством, потому что самими студентами они воспринимались как «коренное условие студенческой жизни, своего рода палладиум вольности» [19, с. 36; 22, с. 383].

Трудно сомневаться в том, что сходки, наряду со всеми вышеперечисленными формами студенческого самоуправления, к которым в 1859–1861 гг. добавились еще и работа студентов в воскресных школах и обучение (иногда на дому) детей бедняков, содействовали развитию в среде учащейся в университетах молодежи духа единения и чувства солидарности, способствовали быстрому распространению протестных настроений. Вместе с тем сложно не обнаружить и опасностей, таившихся в пренебрежительном отношении студентов к своим академическим обязанностям, которое все отчетливее давало о себе знать, по мере того, как наиболее активные участники студенческого самоуправления начали уподоблять учебу единственно важным для них на тот момент общественно значимым поступкам.

На это указывают и сами студенты, и преподаватели тех лет. Так, из воспоминаний студента В. М. Сорокина нам известно, что «студенты учились мало, в смысле аккуратного посещения лекций и прилежного заучивания профессорских записок, но чрезвычайно восприимчиво и сильно мыслили... Всестороннее возрождение России... было у всех не только на языке, но и в уме и в сердце» [19, с. 24].

Профессор С.-Петербургского университета В. В. Григорьев откровенно осуждает студентов, которые совершенно забросили учебу ради надуманных по актуальности дел, придавая им ложное значение неотложности и архиважности. Он отмечал: «Хлопоты по изданию сборника... делам кассы велись с такой тратой времени на совещания по всем этим предметам, что отнимали возможность заниматься, как бы следовало, прямым их делом – работой по предметам университетского преподавания – не только у всякого рода распорядителей и депутатов, в обилии избиравшихся товарищами... но и у всей остальной массы студентов». Если бы подсчитать, предлагал он, все то время, которое было потрачено студентами на сходки для рассуждений об устройстве кассы, установлении правил ее функционирования, затем – для рассмотрения отчетности и состояния дел, то даже наиболее горячим защитникам подобных мероприятий стала бы очевидна

неэффективность затраченных усилий, потому что самая дешевая работа – а не разговоры о ней на сходках – принесла бы в студенческую кассу значительно больше материальных средств. Кроме того, вред от чрезмерной студенческой активности профессор видел в том, что новые «модные затеи... приучали университетскую молодежь смотреть на осуществление этих мероприятий как на нечто весьма серьезное, приучали принимать слова и суетню за дело... раздувая... мелочное тщеславие самолюбивых и... оправдывая в нерадивых отвращение их от настоящей работы» [24, с. 311, 312].

Аналогичные соображения об очень скромной пользе всех появившихся форм студенческого самоуправления высказывает и сенатор П. А. Капнист, бывший в 1860 г. студентом Московского университета².

В 1857 г. начался второй этап студенческого движения, прошедший под лозунгом неповиновения властям: он сопровождался столкновениями студентов с полицией, военными чинами, университетской администрацией.

В Киеве шумные студенческие сходки произошли в 1857 г., когда студенты решились встать на защиту чести своего товарища, оскорбленного офицером. В расследовании инцидента, всколыхнувшего всю университетскую молодежь, принимал участие сам Александр II, с санкции которого виновный в стычке со студентом полковник был разжалован: так он поплатился за грубое обращение с юношей.

Осенью 1857 г. протест против беззакония полиции прозвучал в Москве. По ложному подозрению в преступной деятельности был обвинен студент Московского университета, на квартиру которого, где развлекалась в веселой «пирушке» молодежь, ворвалась целая армия городских с квартальным во главе. Студенты защищались от произвола стражей порядка бутылками, поэтому и были сильно избиты, а некоторые – даже порублены тесаками. Уже на следующий день в университете начались сходки, появились прокламации, призывавшие студентов высоко чтить свое достоинство, отстаивать свою неприкосновенность, использовать право на защиту, заявленную в Уставе 1835 г.

Для разбора происшествия была создана особая следственная комиссия, работавшая под наблюдением избранных из студенческого актива депутатов. Она была вынуждена передать провинившихся полицейских чинов военному суду.

История о «полицейском разбое» получила широкую огласку: она обсуждалась не только в печати и Министерстве народного просвещения,

но и оказалась на контроле у самого царя [7, с. 461; 17, с. 15; 20, с. 51–53; 22, с. 384, 385]. «Это была искра, – вспоминал Б. Н. Чичерин, – которая зажгла давно уже накопившиеся горючие материалы... Виновные полицейские были наказаны. Это внушило молодежи сознание своей силы» [17, с. 15].

В следующем году произошло столкновение группы студентов С.-Петербургского университета с офицером и матросами Гвардейского экипажа на пожаре, возле горевшего многоквартирного дома. Пострадавшие от стихии студенты подали официальный протест против самоуправства офицера, который не только не позволил им вынести из огня свое имущество, но и приказал солдатам избить разгневанных юношей прикладами [8, с. 49, 55; 20, с. 54].

Аналогичные эксцессы имели место в Харьковском университете (1858 г.), где учащиеся попытались оспорить решение генерал-губернатора Лужина и поддержавшего его попечителя П. В. Зиновьева о высылке из города после ареста за учиненный дебош двадцати студентов-нарушителей порядка [20, с. 60; 30, с. 190], и в Казанском университете (1859 г.), где вновь были наказаны полицейские, обвиненные в самоуправстве – избииении подвыпившего молодого человека [20, с. 54, 55].

Закончившийся почти полной победой этап эпизодических вспышек недовольства студентов, сомкнувших свои ряды в борьбе за ликвидацию безнаказанности, насилия, всевластия вершителей правосудия, дал им повод начать «походы» против «неугодных» профессоров [17, с. 15] и вселил надежду на успех задуманного предприятия. Явно выраженная цель коллективных действий университетской молодежи (избавление от непопулярных преподавателей) позволяет нам выделить еще один этап в студенческом движении.

Как показывают источники, студенты могли ополчиться на преподавателей буквально за все: за неактуальное, как им казалось, содержание лекций, за ретроградность мыслей, отсталые взгляды, косные убеждения, архаичное мировоззрение, скромные педагогические дарования, за поведение профессоров: излишнюю, по их разумению, строгость, несдержанность, опоздания, непозволительные выходки и т. п. Известные нам обстоятельства вынужденных отставок профессоров настолько разнообразны, а причины – настолько нелогичны и противоречивы, что невольно убеждаешься: поводы для выражения студенческого недовольства нередко были сфабрикованы. Они могли скрывать не только желание студентов иметь подлинно научное, совре-

менное образование у первокурсных ученых и преподавателей, не уступавших научным авторитетам Западной Европы, но и полностью противоположные установки – уклонение от добросовестного выполнения своих академических обязанностей.

Настоящая «облава» на профессоров была устроена студентами Казанского университета, когда оставить кафедры пришлось физиологу В. Ф. Берви, химику Ф. Х. Грахе, физику И. А. Больцани, хирургу Ф. О. Елачичу, историкам В. М. Ведрову, Ф. А. Струве, Р. А. Шарбе [30, с. 200; 38, с. 255, 256]. В этом списке оказались не только бездарные ученые с отсталыми научными представлениями, но и талантливые, известные в своих областях знаний специалисты. К примеру, И. А. Больцани вызвал студенческое недовольство сложностью содержания лекций, а Ф. О. Елачич – отказом вести занятия на русском языке.

Что касается других профессоров, оказавшихся в этом «списке на выбывание», то, к сожалению, приходится признать, что уровень научности их лекций был довольно низким, а отношение к преподавательскому труду – казенно-равнодушным. На это указывает и П. Д. Боборыкин, по названным причинам в 1855 г. покинувший Казанский университет ради обучения в «немецком» Дерпте [2, с. 107], и особенно В. А. Манасеин, находившийся в этом учебном заведении в 1861 г. В частности, он отмечал: «Большинство наших профессоров – ниже посредственности, библиотека... в страшном беспорядке... лаборатория одна... кабинеты в зародыше... Словом, средств к работе почти никаких, и оттого все наши усилия и направлены к тому, чтобы приобрести возможно большую свободу занятий (уничтожение... переходных экзаменов, обязательного слушания лекций и т. п.), подобрать более сносных профессоров и для того выгнать всю находящуюся дрянь, доставить себе право голоса не только в отношении профессорских лекций, но и... всех университетских дел вообще» [30, с. 201].

В Казанском университете, похоже, даже в начале 60-х гг. XIX в. «царили» профессора старого закала, выделявшиеся одной лишь своей благонамеренностью. Именно им и был объявлен студентами «крестовый поход». Профессор В. Ф. Берви получил от студентов медицинского факультета письмо, в котором они благодарили его за продолжительную службу и просили в виду преклонного возраста сложить с себя тяжелую обязанность преподавателя, требующую молодых и свежих сил. Профессор поначалу пытался

найти себе защиту в Министерстве народного просвещения, но, даже получив ее, вынужден был покинуть университет, так как студенты наотрез отказались присутствовать на его занятиях.

Профессор всеобщей истории В. М. Ведров лишился поддержки студентов за то, что составлял свои лекции «до того бестолково и бессвязно, что иногда было трудно даже понять их». Не пользовались популярностью и два профессора-античника: профессор греческой литературы Р. А. Шарбе и латинист Ф. А. Струве, «выживая» которых из университета, студенты использовали такие методы обструкции, как инвективы, свист, «шиканье», изгнание из аудиторий с криком: «Вон! Вон!».

Студенты одержали победу над «неугодными» профессорами с относительно малыми потерями: только два зачинщика «травли» латиниста Ф. А. Струве были отчислены из университета и высланы из Казани [20, с. 57–59].

Московский университет также был богат своими историями «выдавливания» студентами бездарных ученых и несостоявшихся преподавателей.

Большой резонанс получил конфликт профессора зоологии и сравнительной анатомии Московского университета Н. А. Варнека со студенческой молодежью. Он, в оценке Н. В. Никитенко, принадлежал «к числу наших лучших ученых», а студенты считали его «отсталым» и не желали прощать ему грубое с ними обращение [8, с. 45], в частности, презрительное прозвище «аристократическая челядь» [7, с. 569], пошлые остроты и персональные оскорбления. Студенты медицинского факультета отказались посещать лекции Н. А. Варнека и объявили ему бойкот. Для разрешения возникшего конфликта была составлена комиссия; в скандальное дело вмешался и новый министр просвещения Е. П. Ковалевский. Совет университета принял «соломоново» решение: Н. А. Варнек был вынужден оставить кафедру, но и двенадцать студентов, виновных во вмешательстве в учебный процесс, были исключены из университета.

Вслед за Н. А. Варнеком был подвергнут бойкоту и выжит из университета профессор энциклопедии законовения, «общее посмешище» [17, с. 15] – С. Н. Орнатский; угроза висела и над П. М. Леонтьевым – профессором римской словесности. Занятый работой в «Русском вестнике», он опаздывал на лекции или «неглижировал» ими, читал без должной подготовки и нередко делал непростительные промахи; ругал и обижал студентов, плохо «схватывавших» материалы лекций и не готовых отвечать без подготовки на

его вопросы. Студенты составили на П. М. Леонтьева жалобу, но она не была принята ни деканом историко-филологического факультета С. М. Соловьевым, ни ректором университета А. А. Альфонским, и вскоре подстрекатели изгнания П. М. Леонтьева (пять человек) сами были исключены из состава студентов [16, с. 436–441; 20, с. 56, 57].

В 1859 г. вспыхнуло недовольство против читавшего русскую словесность А. А. Майкова – «совершенной бездарности», по словам Б. Н. Чичерина [17, с. 15]. В его лекциях не привлекали ни содержание, ни форма изложения материала и откровенно раздражали студентов православно-монархические взгляды. Свое отношение к профессору студенты выражали полюбившимся им «шиканьем» и демонстративным уходом из аудитории (кстати, среди нарушителей дисциплины был и В. И. Герье).

Из приведенной информации, а также из анализа всех сведений, которыми мы располагаем, невольно приходится констатировать, что наиболее подходящая среда для проявления вспышек недовольства студентов сложилась на историко-филологическом факультете Московского университета. Не стремясь к оправданию поступков студентов, справедливости ради заметим, что на рубеже 50–60-х гг. XIX в. историко-филологический факультет старейшего университета Российской империи не мог похвастаться блестящим составом профессорско-преподавательского корпуса. Даже деликатный В. О. Ключевский, не склонный к каверзам и пошлым оценкам профессоров, в своих письмах друзьям, восторгаясь талантом Ф. И. Буслаева (выдающегося филолога и историка литературы), преданностью высоким идеалам науки С. В. Ешевского (профессора кафедры всеобщей истории), актуальностью содержания лекций Н. А. Сергиевского (профессора богословия), «задевающей за живое... здоровой, критической мыслью» С. М. Соловьева (декана факультета), тем не менее, утверждает, что этих «корифеев... русской науки... можно по пальцам перечесть» [6, с. 424–427, 432]. Что же говорить про студентов, которые ни разу не испытали восхищения от знаний и таланта преподавателей, и, вместо «науки, света, истины, деятельности, прогресса, развития» [9, с. 151], получили одни лишь разочарования от своего пребывания в университете. К их числу принадлежал, к примеру И. А. Худяков, с трудом выдержавший два года обучения. По его мнению, «филологический и юридический факультеты Московского университета... походили на умственную управу благочиния...

Почти все профессора излагали свой предмет с консервативной точки зрения. Преподаватель немецкого языка Геринг... вместо лекций немецкой литературы рассказывал только анекдоты... Заслуженный профессор [греческого языка. – М. Н., Т. П.] Меншиков посвятил свою жизнь сочинению греческих стихов в честь коронации и прочих императорских праздников. Н. С. Тихомиров [профессор истории русской литературы. – М. Н., Т. П.], хотя и читал лучше других, но иногда в продолжение полугода прочитывал не более двух-трех лекций. Соловьев читал с заметным талантом, но излагал предмет [русскую историю. – М. Н., Т. П.] с чиновническо-централизаторской точки зрения и был совершенно недоступен для студентов...» [16, с. 436].

Схожую в своей прямоте и нелюбимых оценках характеристику преподавателей историко-филологического факультета С.-Петербургского университета конца 50-х гг. дал и Д. И. Писарев.

С иронией он вспоминает профессора М. И. Касторского, который «читал всякую историю, какую назначат, то древнюю, то русскую, то новейшую» – на все случаи жизни у него нашлась бы «готовая тетрадка, написанная лет двадцать назад». Слава ученого его не привлекала, хотя он был охоч выставить напоказ свои научную осведомленность и широкий кругозор всякий раз, когда на магистерских диспутах делал соискателю множество «микроскопических» возражений и замечаний. Желая придать своим лекциям побольше занимательности, он рассказывал анекдоты и слухи об исторических персонажах, и, вживаясь в образы своих героев, лицедействовал, растрчивая при этом все «духовные силы» на «кряхтение» и «мимическое искусство». Это забавляло аудиторию, которая развлекалась вместе с преподавателем, забыть о сути предмета изучения. В результате М. И. Касторский, замкнувшийся на своих театральные эффекты, заработал славу шута и потерял почти всех своих слушателей: они, не видя пользы от таких «чтений», перестали ходить на его занятия, а чтобы иметь хотя бы один полный экземпляр его «записок» для подготовки к экзамену, по очереди «отбывали повинность», являясь на лекции [9, с. 138–144, 414].

В отличие от виртуозного в своих перевоплощениях М. И. Касторского, приват-доцент Н. Д. Астафьев, читавший историю Средних веков, поражал слушателей безучастным и апатичным отношением к предмету. Выбрав в качестве руководства для своих «чтений» сочинение Ф. Гизо «История цивилизации во Франции», он равнодушно передавал его содержание, не отрыва-

ваясь от своих записей, и явно не владел материалом настолько, чтобы окрасить его «отпечатком своей личности» и собственным анализом [9, с. 143, 144, 415].

Профессор всеобщей истории М. М. Стасюлевич поначалу произвел настоящий фурор глубоким пониманием своего предмета, его идейным содержанием, современными научными подходами к рассмотрению сущности исторического процесса, поэтому слушатели пребывали в восторге от «цивилизованного европейца», заранее занимали места в аудитории и даже рукоплескали ему. Однако постепенно М. М. Стасюлевич стал вызывать раздражение «неистовым желанием ослепить слушателей оригинальностью и богатством своих заграничных впечатлений», которых скопилось немало во время его двухгодичного пребывания в Германии.

Разочарование в профессоре наступило тогда, когда наиболее одаренным студентам, великолепно знавшим французский и немецкий языки, удалось обнаружить, что блестящие лекции М. М. Стасюлевича являются его «тайным переводом» исследования И. Тэна «Исторические и критические опыты». Он беззастенчиво пользовался идеями известного французского историка, бесцеремонно присвоив их себе и с апломбом выдавая за свое собственное видение современной зарубежной историографии. Несоответствие между заявленными претензиями преподавателя на «заграничность и щегольство» и избалованными студентами плагиатом – «павлиньими перьями, взятыми напрокат», оказалось настолько сильным, что бросило тень на всех профессоров факультета. Студенты стали сомневаться в способностях обучавших их профессоров – этих «жрецов науки» – когда-либо удовлетворить «серьезные умственные требования общества» [9, с. 144–147, 415].

Наилучшие воспоминания у Д. И. Писарева остались от профессора М. И. Сухомлинова, читавшего на первом курсе теорию языка и историю древнерусской литературы. Он не гонялся за блеском и щегольством, «не пускал пыли в глаза», а действительно стремился «быть и полезным профессором и дельным ученым». Он постоянно читал, был в курсе всех научных новинок и «передавал нам много хороших вещей на лекциях», любил студентов и «искал между ними популярности». М. И. Сухомлинов посвятил себя науке, не интересовался политикой и своих слушателей стремился прирастить к кропотливой, усердной, регулярной самостоятельной научной работе. Д. И. Писарев, оказавшись среди его учеников, шестнадцать месяцев потратил на перевод

с немецкого сложного философского труда о В. Гумбольдте и опубликование в студенческом «Сборнике» краткого извлечения из проделанной работы. Эта деятельность своей трудоемкостью и чрезмерной сложностью поставленных задач надолго отбила у него всякое желание заниматься наукой и, кроме того, посеяла недоверие к проницательности преподавателей, равнодушных к истинным интеллектуальным запросам учащихся и на деле не готовых руководить их приобщением к науке [9, с. 148–163, 415].

Резюмируя свои впечатления от первых двух лет, проведенных на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета, Д. И. Писарев категорично определил их «чисто отрицательными»: «Слова, стремления, беготня по коридорам университета, бесплодное чтение, не оставлявшее... ни удовольствия, ни пользы, машинальная работа пером, не удовлетворявшая потребностям ума... школьническое приготовление к экзаменам и школьническое отвечание на экзаменах, скука на лекциях... – вот и все, – заключил он, – чем наградила меня волшебный мир университета за мою страстную и неосмысленную любовь к недостижимым и неведомым сокровищам мысли» [9, с. 163].

Постоянно сетуя на тесную, «затхлую» научную атмосферу на факультете, замкнутость преподавателей на узких, оторванных от насущных потребностей жизни проблемах их исследований [9, с. 168, 169], которые со стороны выглядят «хламом» [9, с. 175], «недвижным и мрачным притоном учености» [9, с. 179], «самодовольством заклятых специалистов» [9, с. 169], он все же смог, подавив в себе заносчивость и предвзятость, признать: его сокурсники с удовольствием занимались научными изысканиями, к которым их смогли приучить те же преподаватели, что вызывали у него явное пренебрежение [9, с. 153, 167, 169]. Более того, он не скрыл и того факта, что у его университетских приятелей, поступивших на службу в разные департаменты, тоска по умственному труду, привитому в аудиториях, сохранялась очень долго, поэтому они в душе готовы были вернуться на научную стезю и тешили себя надеждой на необходимую для этого успешную сдачу кандидатского экзамена [9, с. 169].

При наличии студентов, «проникнутых бескорыстным и сознательным стремлением к образованию» [9, с. 217], готовых посвятить себя служению науке, вопрос о качестве преподавания был, действительно, очень актуален, поэтому становится понятным негодование авторов «Дневников» и «Записок» – выпускников преимущественно гуманитарных факультетов, тес-

нее прочих связанных с современностью, равнодушием профессоров к запросам учащихся, неприятие ими невежества и безнадежной отсталости ученых от свершавшихся, но проходивших мимо них открытий.

Но такие «алчущие» знаний явно составляли ничтожно малый процент студенчества. Сам Д. И. Писарев, характеризуя студентов своего курса, отмечал: «Вместе со мной поступили в университет личности всякого разбора: были совершенные олухи, оставшиеся верными своей природе вплоть до выхода из университета; были молодые фаты, уже испорченные великосветским элементом; были юноши себе на уме; были юноши тупо-серьезные; были добрые ребята; были просто терпеливые ослы; были, наконец, очень умные...» [9, с. 137]. Заметим, вскользь, что «очень умные» поставлены в самый конец списка, и следовательно, они, действительно, составляли меньшинство по сравнению со всеми остальными перечисленными автором группами студенческой молодежи.

Гораздо более значительное число студентов (по сравнению с «самыми умными») составлял разряд тех, кто за все четыре года обучения не определился «ни с наклонностями своего ума» [9, с. 216], ни с выбором будущей специальности, плохо ориентировался в своих потребностях и возможностях, способностях и интересах и приносил в университет одну «только неопределенную любознательность» [9, с. 217].

Кроме них, как и сейчас, можно было встретить тех, кто при поступлении в университет руководствовался сугубо житейскими расчетами: им нужен был университетский аттестат, суливший в дальнейшем «вознаграждение чинами», «служебные преимущества», «знаки отличия», «большой оклад жалованья» [9, с. 217, 218].

В этот весьма противоречивый по умственным запросам, интересам, мотивации поведения коллектив в конце 50-х гг. влилась еще и группа «новых студентов», которые, едва приступив к занятиям, приняли руководство студенческим бытом в свои руки, стали изменять на свой лад сформированный годами уклад университетской жизни, завели свои порядки, копируявшие пришедшую в движение жизнедеятельность взрослых. Это были «люди дела» [9, с. 179] – затейники новых, неизвестных прежде университетских дел: библиотек, студенческих касс, сходок, которые смогли быстро отодвинуть на задний план «умников-книжников», замкнутых, как в раковинах, на только им полезных и важных научных поисках, и приступили к осязаемым всеми разительным переменам, опрокинув привычные,

устоявшиеся представления о ценностях университетского бытия.

Это по их инициативе был начат «крестовый поход» против «никчемных» преподавателей, о котором вспоминает А. В. Никитенко. В январских записях за 1859 г. он сообщает: «Между студентами ходит лист с именами тех профессоров, которых они хотят выжить из университета» [8, с. 56]. Это они начали свергать с пьедесталов вчерашних кумиров студенческой молодежи, которые в их глазах выглядели уже безнадежно отставшими от современности «учеными аскетами»³. К примеру, в начале 60-х гг. полностью потерял свое влияние на студентов историко-филологического факультета С.-Петербургского университета М. И. Сухомлинов, которого еще совсем недавно, в конце 50-х, слушали с упоением [9, с. 148, 149]. Профессора Н. Н. Булича стали воспринимать как фразера, предпочитавшего красноречие ясности и простоте изложения [38, с. 249]. Даже К. Д. Кавелин, слывший главным наставником в либерализме студентов С.-Петербургского университета, утратил их доверие за то, что не допускал и мысли о политическом выступлении универсантов и во время волнений 1861 г. пытался удержать их исключительно в рамках решения академических проблем [34, с. 241–243].

«Новые студенты» смогли вовлечь в свою команду тех из «стариков», которым были глубоко безразличны академические лавры, и, превратившись таким образом, в большинство, им легко удалось разрушить налаженное университетское «мироздание»⁴. Они не только отказались терпеть «старорежимных» профессоров и «выжали» их из университетов, но и, окрыленные успехом, начали перекраивать на свой лад профессоров и их лекционные курсы. От преподавателей теперь ждали угождения не начальству, а аудитории слушателей с переменчивыми и неформившимися научными ориентирами, а если профессор отказывался заискивать перед аудиторией и продолжал руководствоваться одними лишь научно-педагогическими соображениями, то и он превращался в мишень для угроз и ругательств зарвавшихся студентов, которые вмиг забывали о своем недавнем преклонении перед ним и начинали травлю, как и «старорежимных»⁵.

Были случаи, когда от уважаемых профессоров (например, А. П. Щапова) требовали изменения концепции курса, придания большей дискуссионности поднятым в лекциях проблемам и, чтобы сломить возрастные и статусные различия, прямо во время занятий вступали с ними в споры [38, с. 249].

Впрочем, фанатично преданных учебным занятиям и привязанных к научной деятельности среди «новых студентов» было, что называется, по пальцам пересчитать. Д. И. Писарев прямо называет всех новичков (поступивших в 1858 и 1859 гг.) «антагонистами университетской учености» [9, с. 179]. Эту информацию подтверждает и студент С.-Петербургского университета Б. Л. Модзалевский, который без обиняков сообщает о том, что студенты «скоро перестали посещать лекции старых и скучных профессоров, дававших науку в каких-то мертвых формах, а ходили в аудитории только к тем, которые старались применить науку к решению насущных вопросов, к разрушению старого зла и раскрывали перед нами новые, свежие идеалы» [38, с. 249]. А. В. Никитенко вспоминает состоявшийся в 1861 г. разговор с одним искренне привязанным к нему студентом, который, как и многие другие, участвовал в «нелепом движении среди молодых людей», направленном против закона и порядка, «домогаясь участия в обсуждении политических вопросов и государственных реформ». На слова профессора о том, что «надобно учиться, а не делать глупостей», он отвечал, «что отныне не наука должна занимать студентов, а современные вопросы» [8, с. 232].

Явно симпатизирующая дурным, эпатажным выходкам студентов Р. Г. Эймонтова, словно не замечая их хамства и распущенности, пытается убедить нас в том, что отсутствие слепого преклонения юношей перед авторитетом профессоров было воспитано самими преподавателями-просветителями, отличавшимися прогрессивными взглядами [38, с. 249]. Не разделяя этих убеждений, мы, со своей стороны, хотим отметить, что даже наличие у студентов свободных от предрассудков взглядов, критического отношения ко всему происходившему в России и в стенах университетов в преддверии «эпохи Великих реформ», непреклонного желания незамедлительно и радикально изменить мир, не может служить оправданием их глумления над профессорами и безразличия к стремлениям той части учащейся молодежи, которая сознательно пренебрегала политикой и была настроена сотрудничать с преподавателями, а не саботировать их занятия [9, с. 179; 16, с. 437].

Только одно обстоятельство, на наш взгляд, дает нам право хотя бы в какой-то, самой незначительной, мере понять поступки нового поколения студентов середины XIX в.: агрессивная, надрывно-вызывающая борьба с профессорами была продиктована более серьезной проблемой – «университетским вопросом» в целом.

Может быть, неумелыми и очень болезненными для преподавателей тех лет мерами студенты стремились возбудить общественное мнение и через этот канал связи заставить правительство взглянуть на весь комплекс академических проблем, незамедлительно приступить к идущей в России либерализации и университетской политике. Если следовать рассуждениям о том, что цель оправдывает средства, то невольно в неприглядных поступках студентов начинаешь различать определенную логику: борьба с «неудобными» профессорами была первым шагом реализации в жизнь системы их новых требований, созвучных «духу» эпохи: отмены канцелярско-административного произвола, демократизации всего строя университетской жизни, самоуправления, права голоса в академических делах, ликвидации вступительных и переводных экзаменов. Кстати сказать, идея «свободы учения», избавленного от «формальностей», наподобие экзаменов, обязательного посещения лекций, широко пропагандировалась либеральной и демократической печатью [8, с. 241; 38, с. 258]. При этом студенты не боялись «выплеснуть с водой и ребенка» – протестуя против всего косного, рутинного, отжившего свой век, они не опасались полностью уничтожить университетскую науку, которая для многих ассоциировалась не с «башней из слоновой кости», а с политизированной школой жизни.

А. В. Никитенко с негодованием обрушивает свой гнев на тех профессоров С.-Петербургского университета, благодаря которым у студентов сформировалось высокомерно-пренебрежительное отношение к учебным обязанностям, тех, кто безответственно втянул молодежь во «взрослое дело» переустройства России. «Вместо того чтобы читать им науку, – с упреком пишет он, – вы пускаетесь в политическое заигрывание с ними. Это нравится неразумной молодежи, которая... начинает не на шутку думать, что она сила, которая может предлагать правительству запросы и контролировать его действия» [8, с. 176].

Распущенное поведение студентов, посвящавших все свое время борьбе за перестройку академической жизни, вызывало раздражение многих профессоров, знавших себе цену⁶.

К примеру, Б. Н. Чичерин, едва сдерживая гнев, отмечал: «Студенты могли делать все, что им угодно, и, разумеется, нередко употребляли свою свободу во зло» [17, с. 31]. Став «хозяевами университета», они по любому поводу собирали сходки, «на которые иногда вызывались ректор и деканы, и те ходили, объяснялись, старались успокоить молодежь. Всякая власть исчезла. Попе-

чители Ковалевский и после него Бахметев были люди мягкие и добрые, но совершенно чуждые университету, не имевшие понятия о том, как следует обращаться с молодежью: они старались только ей угодить. Разумеется, об исправном посещении лекций совершенно перестали думать... Если таковы были порядки в Московском университете, – сокрушается он, – то в Петербургском, подверженном непосредственному влиянию Чернышевского с компаниею, дело обстояло еще несравненно хуже. Те же явления повторились и в провинции» [17, с. 16].

Профессора Московского университета раньше других своих ученых собратьев осознали опасность, исходившую от вседозволенности студентов, которые больше занимались политикой, чем учебной⁷ и не встречали при этом достойного отпора своим притязаниям и требованиям. «Проступки, совершавшиеся толпой, – указывалось в „Исторической записке“, составленной профессорами историко-филологического и юридического факультетов, – оставались безнаказанными или... кончались удачей студентов... Удачи утвердили студентов в мысли, что они своей массой составляют силу, против которой начальство боится действовать решительно...» [20, с. 61].

Попечители, или «начальство» университетов, о которых говорится в «Исторической записке», действительно боялись ненужной им огласки: оскорблений в бессилии противостоять «диктатуре» распоясавшихся студентов и скоропалительных обвинений в их неспособности вовремя справиться с возникавшими проблемами и преодолеть академические трудности. В Министерстве народного просвещения из всех университетских центров шел поток обвинений в безнравственности и жалоб на поведение студентов, совершенно отбившихся от рук. Министр просвещения Е. П. Ковалевский, парируя упреки в адрес его Министерства в попустительстве распушенности университетской молодежи, поначалу попытался защищать ее от нападков профессоров и членов правительства, но не имел успеха. Уступая давлению критики, он вынужден был принять серию мер, направленных на искоренение спонтанно возникших форм студенческого самоуправления, «обуздание» молодежи и «оздоровление» университетской жизни [20, с. 62].

Таким образом, не укладывающимся в нашем сознании формам поведения студентов: давлению на преподавателей при помощи «шумовых эффектов» (свиста, топота, шиканья) и их литературных изысков (пародий, жалоб, критики), прямой травле профессоров, неповиновению университетскому начальству, саботажу заня-

тий – наконец был поставлен заслон. Следовательно, завершение «оттепели» в университетах было ускорено самими студентами: их неприятием существовавшего уклада университетской жизни, гонениями на профессоров, необдуманым желанием подменять академическую деятельность подготовкой социально-политических потрясений.

В конце 1858 г. Е. П. Ковалевский обратился к попечителям учебных округов с циркуляром, заставлявшим студентам «изъявлять публично своим профессорам знаки одобрения (посредством рукоплесканий и т. п.) или порицания». Министр просвещения напоминал о том, что «всякого рода собрания и демонстрации» строго запрещены законом⁸, поэтому предупреждал, что виновные в означенных проступках будут немедленно исключены из университетов, «несмотря на то, какое бы ни было число виновных» [20, с. 62; 22, с. 386].

Одновременно деканам факультетов предлагалось вести наблюдение за содержанием профессорских лекций и пресекать их «суетные искания популярности между студентами». Е. П. Ковалевский назидал преподавателей в том, что «истинная цель просвещения – в видах общественного порядка и подчиненности установленным властям» [39, с. 37], делая, таким образом, запоздалый реверанс в сторону «мрачного семилетия».

Через полгода, в мае 1859 г., появилось распоряжение Совета министров, гласившее, что «вне университетских зданий» студенты должны подчиняться полицейскому надзору «на общих основаниях», поэтому студенческий мундир уже не мог служить для них, как прежде, прикрытием при наказании за свершенные преступления⁹.

В начале 1860 г. было опубликовано постановление о повышении возраста абитуриентов с шестнадцати до восемнадцати лет и усилении строгости приемных экзаменов. По новым правилам приема в университеты от экзаменов освобождались только выпускники гимназий, окончившие их с отличием. Не имевшие гимназического аттестата должны были выдержать полные испытания¹⁰ в особых комиссиях из профессоров и учителей гимназий [39, с. 36].

Последнее распоряжение правительства было воспринято обществом как «чистка» абитуриентов, оценено как «избиение юношей», так как из всего числа поступавших в столичные университеты в 1860 г. молодых людей смогли выдержать вступительные испытания менее одной трети [20, с. 62].

«Ставя эти тормоза, – утверждает И. Н. Боздин, – правительство начинало новый круг в истории гонений на университеты» [22, с. 386]. Заметим, что не только на них. В 1858 г., по со-

общению А. В. Никитенко, «поворот назад становится очевидным из некоторых мер», и ниже перечисляет их: Россию снова поделили на генерал-губернаторства [8, с. 26]; в печати было запрещено употреблять слово «прогресс», возобновились «цензурные стеснения» [8, с. 27]; оживили свою деятельность «шпионы» и негласные Комитеты [8, с. 52]; появился запрет на чтение лекций по политической экономии [8, с. 57]. Резюмируя свои впечатления от новых потуг правительства «удерживать, угнетать и устрашать» [8, с. 61], он восклицает: «Это успех гласности! Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича» [8, с. 57].

О многочисленных «стеснениях» (в порядках университетов, в жизни воскресных школ и т. п.) упоминал в своих письмах единомышленникам и В. А. Манасеин [30, с. 225].

Кульминационным моментом возобновившегося с новой силой наступления правительства на права университетов было назначение на пост министра просвещения адмирала Е. В. Путятина. Отставка его предшественника Е. П. Ковалевского была предопределена студенческими волнениями начала 60-х гг.¹¹, к которым плавно подвело демонстративное игнорирование со стороны учащейся в университетах молодежи грозных распоряжений о правилах поведения в аудиториях и запрете сходок. Новые беспорядки, вспыхнувшие в студенческой среде, имели уже не академический, а политический характер (что позволяет нам выделить четвертый этап в студенческом движении): весной 1861 г. студенты С.-Петербургского и Московского университетов участвовали в панихидах по погибшим во время Варшавской политической манифестации 13 февраля полякам, а Казанского – в скорбном шествии памяти о кровавой расправе с оспаривавшими дарованную «волю» крестьянами из села Бездна.

Политические демонстрации студентов сопровождались критикой правительства, требованиями демократической конституции, призывами к радикальным мерам борьбы за свои права [8, с. 592, прим. 149; 22, с. 390]. Правительство, не желая впредь мириться со становившимися все более опасными студентами, предприняло ряд решительных мер, которые после одобрения в Совете министров и двух специальных комиссиях¹² были утверждены императором.

Новые указания академическому сословию, получившие название Правил 31 мая 1861 г., содержали распоряжения о приемных и переводных экзаменах, об отмене студенческой формы, о стипендиях и пособиях, воспрещали «всякие

сходки без разрешения начальства», требовали «точного посещения лекций с соблюдением необходимых порядка и тишины». Кроме того, они возрождали знаменитую «Инструкцию ректорам и деканам» от 1851 г.: на этих представителей университетской администрации вновь возлагалась ответственность за политическую благонадежность преподавания, воспитание у студентов «благоговения к святыням, преданность государю и любовь к отечеству» [10, с. 365; 16, с. 442; 20, с. 69].

Эти «нелепые», в оценке П. В. Долгорукова, «постановления насчет студентов» ознаменовали новый виток «гонений на студентов»¹³ [4, с. 114]. Претворение их в жизнь началось с отстранения Е. П. Ковалевского с поста министра просвещения. Назначенный летом 1861 г. новым министром граф Е. В. Путятин счел необходимым усилить строгость Правил 31 мая. Первый министерский циркуляр 21 июля 1861 г., адресованный попечителям учебных округов, разъяснял и дополнял Высочайшее повеление от 31 мая, а также усиливал его охранительную направленность.

Студенческие сходки, как и объяснения студентов с начальством через депутатов, решительно запрещались. Распорядители студенческих касс взаимопомощи, библиотек, «читален» и другие выбранные на сходках представители учащейся молодежи заменялись лицами, назначенными университетским начальством. Распоряжение кассой взаимопомощи переходило к инспектору и ректору [36, с. 324, 325].

Одним из самых скандальных правил циркуляра стало запрещение освобождать от платы за обучение более двух студентов от каждой губернии, входившей в состав учебного округа. Это означало отмену ранее широко применявшейся льготы по освобождению неимущих студентов от платы за обучение, а следовательно, и закрывало доступ в университет «студенческому пролетариату» – наиболее политически неблагонадежной, в глазах правительства, группе молодых людей¹⁴.

В циркуляре содержались рекомендации бороться не только с «недостаточными» студентами, но и с неуспевающими тоже. Если раньше при неудовлетворительной успеваемости студента оставляли на второй год¹⁵, то отныне всех, не выдержавших хотя бы один из переходных экзаменов, исключали из университета¹⁶. Такому же наказанию следовало подвергать и всех виновных в нарушении министерских указаний [20, с. 70].

Посещение лекций признавалось обязательным условием пребывания учащихся в универси-

тете. Профессора получали право удалять с занятий вольнослушателей, виновных в нарушении порядка. В свою очередь, и профессора, замеченные в «неблагонадежном или ошибочном направлении» своих убеждений относительно веры или образа правления в России, лишались кафедр.

Вся вина за поведение и настроение студенчества возлагалась на преподавателей, которые открыто признавались «причиной несчастья многих молодых людей» [8, с. 207].

Студенты ставились в полную зависимость от общей полиции, чему способствовала отмена единой студенческой формы. Надзор за поведением и намерениями студентов внутри университетов возлагался на проректора (а не на инспектора, как этого требовал Устав 1835 г.), избравшегося из профессоров специально для выполнения полицейских функций [8, с. 207].

Новые правила поведения студентов было решено занести в особые книжечки – «матрикулы» (давно имевшие хождение в Дерптском университете), которые одновременно должны были служить и удостоверением личности студента, зачисленного в университет, и видом на жительство, и читательским билетом, и «зачеткой» [с. 19].

Циркуляр нового министра просвещения не только вызвал протест студентов, но и получил отпор со стороны университетских советов, которые в своих отзывах выражали сомнения в возможности осуществления на практике всех предписанных им мер [13, с. 19, 20]. По сообщению А. В. Никитенко, С.-Петербургский университет «был оскорблен циркуляром министра, стал в оппозиционное к нему отношение...» [8, с. 207]. В Московском и Киевском университетах тоже проявлялись «негодование и дух оппозиции» [8, с. 207]. Удручающее впечатление от первых шагов главы Министерства народного просвещения, сразу же получившей прозвище «недалекого» [8, с. 210, 235], испытало и общество, напуганное как новой волной мер по ограничению числа студентов университетов, так и усилением полицейского контроля за их поведением. Даже далекие от сферы просвещения люди понимали: новых студенческих волнений избежать не удастся.

И действительно, начало очередного академического года, по рассказам А. В. Никитенко, было ознаменовано запрещенными в циркуляре сходками, бойкотированием студентами всех вводившихся ограничений [8, с. 211]. Наиболее крупные по масштабам и существенные по значению события произошли в С.-Петербурге и Москве.

Университетское начальство С.-Петербурга, в том числе и новый попечитель Г. И. Филипсон – в прошлом начальник Главного штаба Кавказской армии и атаман казачьего войска, даже не уведомило студентов о вводившихся матрикалах, и они, находясь на каникулах, узнавали о новых «стеснениях», главным образом, по слухам. Напряженное отношение к ожидавшимся крутым мерам и презрение к профессорам, допустившим новый правительственный произвол, проявились в срыве учебных занятий. Аудитории стали использоваться для проведения сходок, чтения прокламаций и воззваний¹⁷, что и вынудило руководство университета временно его закрыть – до выдачи в начале октября готовившихся в типографии матрикул [13, с. 21].

Спустя неделю, наполненную непрерывающимися митингами и состязаниями ораторов в политическом красноречии¹⁸, студенты решили продемонстрировать «несокрушимость своей общественной силы» [20, с. 71] во время массового шествия от здания университета (Васильевский остров) к дому попечителя Г. И. Филипсона (через Дворцовый мост, Невский и Владимирский проспекты). Колонна, растянувшаяся на версту, шла в сопровождении конной и пешей полиции, пожарных отрядов, стрелкового батальона, которыми верховодили генерал-губернатор и оберполицеймейстер С.-Петербурга. Для ведения переговоров с попечителем из возбужденной, «неистовавшей» толпы [8, с. 213] были избраны депутаты, которым поначалу обещалась неприкосновенность. Г. И. Филипсон, согласившись вступить в диалог со студентами только в здании университета, заверил их в своей решимости и непоколебимости следовать букве и духу министерского циркуляра и призвал всех участников митинга немедленно приступить к занятиям, руководствуясь правилами матрикул.

Ночью были вероломно арестованы тридцать семь студентов: кроме депутатов-парламентеров, за решеткой оказались редакторы студенческого «Сборника» и руководители кассы взаимопомощи [13, с. 29; 20, с. 75]. Это послужило поводом для новой сходки, на которой составлялось прошение Е. В. Путятину об освобождении из-под стражи задержанных товарищей. Подписи под адресом поставили семьсот человек. Участники сходки не испугались батальона Финляндского полка, жандармов и полиции, окруживших здание университета, и разошлись только после угрозы генерал-губернатора П. Н. Игнатьева пустить в ход оружие.

На протяжении двух последующих недель этот сценарий повторялся снова и снова: утром студенты собирались на митинг, их окружали полиция и войско, для острастки под стражу брали самых активных ораторов и кое-кого из присоединившихся к бастующим юнкеров и офицеров, а с приближением обеденного времени «сборища рассеивались» [13, с. 31; 17, с. 20, 21]. Сходки во дворе университета прекратились только тогда, когда в ходе облавы были арестованы сразу тридцать три человека, в числе которых оказались все члены студенческого комитета, руководившие движением протеста: Ген, Михаэлис, Стефанович.

Лишившись своих лидеров, студенты стали более покладистыми и склонными к компромиссу, что дало университетскому руководству возможность 11 октября открыть университет. К возобновлению учебного процесса изъявили готовность приступить шестьсот пятьдесят человек (из полутора тысяч студентов и вольнослушателей), подавших прошение о выдаче им матрикул. Всем остальным было приказано в течение двух суток покинуть С.-Петербург.

Однако возобновить занятия так и не удалось, несмотря на то, что раскол в студенческой среде на «матрикулистов» и «нематрикулистов» был очевиден. В аудиториях было пусто – профессора читали для двух-трех человек; остальные бесцельно бродили по коридорам, сомневаясь в правильности своего проступка – уступке университетскому начальству, а раскаявшиеся в предательстве своих товарищей уже на следующий день стали уничтожать матрикулы, усеивая ими университетский двор [8, с. 226; 13, с. 37]. «Нематрикулисты», напротив, под разными предлогами стремились войти в университет.

Для восстановления порядка вновь были брошены войска, и на этот раз столкновения с ними избежать не удалось – от прикладов и штыков пострадало не менее двадцати человек. Возобновились и аресты: за три недели беспорядков было арестовано свыше трехсот студентов. Петропавловская крепость, где они ожидали приговора суда, в шутку получила название «Петербургский университет» [36, с. 331].

Аресты и отчисления «нематрикулистов» не изменили положения дел: С.-Петербургский университет фактически не работал. Студенты не посещали лекций [8, с. 236, 237], профессора юридического факультета перестали приходить на занятия [8, с. 233]. Либерально настроенные профессора: К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич, Б. И. Утин, А. Н. Пыпин, «питавшие дух оппозиции в студентах» [8,

с. 233], подали в отставку [13, с. 39], дискредитируя тем самым деятельность правительства и поддерживая пострадавших в октябрьских событиях студентов. Это предрешило исход студенческих волнений. 20 декабря 1861 г. Высочайшим распоряжением С.-Петербургский университет был закрыт на неопределенный срок – «до пересмотра университетского устава».

Студенческое движение не ограничилось одним лишь С.-Петербургом и скоро поднялось в Москве. Студенты Московского университета восприняли весть о закрытии главного столичного центра просвещения как сигнал к активным выступлениям. В конце сентября здесь были прекращены дружно начавшиеся занятия и стали созываться сходки, на которых с агитационными и подстрекательскими речами выступали прибывшие депутаты петербургского студенчества. Наибольший отклик они встретили у студентов первых двух курсов юридического факультета, многие из которых отличались крайней бедностью [6, с. 428; 17, с. 17]. Университетский совет, стремясь пресечь все дальнейшие манифестации студентов, решил прекратить занятия на «бунтующих» курсах юридического отделения и исключить на год всех участников беспорядков¹⁹ [21, с. 50].

Однако сходки по-прежнему собирались ежедневно, хотя местом их проведения уже были не аудитории, предусмотрительно изолированные по факультетам чугунными решетками, а, с разрешения генерал-губернатора П. А. Тучкова²⁰, – университетский сад. Он же вызвался редактировать адрес, составлявшийся студентами на имя Александра II. Уверенные в том, что попечитель университета генерал-лейтенант Н. В. Исаков передаст императору адрес с прошением смягчить министерский циркуляр от 21 июля, студенты обратились к нему за помощью, но встретили категорический отказ. Переговоры с попечителем велись в грубой, недостойной форме – студенты, склоняя своего начальника встать на их сторону, угрожали и запугивали его, чем и вызвали закономерную реакцию. По требованию попечителя П. А. Тучков вынужден был арестовать зачинщиков скандала и выставить для охраны университета полицейскую команду.

Взволнованные арестом своих товарищей, студенты решились поговорить с генерал-губернатором лично, и большой, многолюдной процессией направились к его дому на Тверской площади. Однако депутаты, выбранные для переговоров, были арестованы, а сами манифестанты, ожидавшие справедливого решения от своего бывшего защитника у гостиницы «Дрезден», бы-

ли окружены полицией и жандармами, внезапно нападшими на них. Около двухсот человек было загнано на ближайший полицейский участок; те, кто пытался спастись бегством, оказались легкой добычей для конной полиции: их ловили, душили, избивали рукоятками палашей и ножами, топтали копытами лошадей [6, с. 430; 431, 16, с. 444]. Арестованным разбивали в кровь лица, за волосы тащили в полицейские управы. В истязаниях студентов приняла участие и московская «чернь», специально натравленная на молодежь, оклеветанную в защите крепостного права²¹.

«Кровавая баня», произошедшая 12 октября 1861 г. (в тот же день, что и столкновение студентов со стражами порядка в С.-Петербурге), вошла в историю студенческого движения под названием «Дрезденское сражение». Возмутительное насилие над студентами вызвало взрыв негодования всей студенческой молодежи. Однако «благородная Москва к волнениям молодежи отнеслась далеко не так сердечно, как суровый Петербург» [21, с. 59]. Если в С.-Петербурге посаженным в Петропавловскую крепость собирали деньги, белье, съестные припасы, книги, папиросы, а отпущенным на свободу устраивали радужные приемы, как самым дорогим гостям, если даже в следственных комиссиях «к увлечениям молодежи» относились сердечно и снисходительно, а новый санкт-петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов («гуманный внук воинственного деда») посещал заключенных и поручился за благонадежность пятидесяти студентов, ради предоставления им возможности закончить университет [20, с. 83–85], то в Москве было все иначе. Здесь с самого начала студенческих беспорядков преподаватели заняли непримиримую позицию бойкота взбунтовавшимся студентам: «Профессора вели себя безупречно, – вспоминал Б. Н. Чичерин. – И старые, и молодые единодушно стояли за водворение порядка... Никто из нас не одобрял новых мер, но все мы – от первого до последнего – были убеждены, что для восстановления правильной университетской жизни необходимо прекращение смут. В этом профессора старались убедить студентов, и старшие курсы в значительной степени склонялись на их увещевания» [17, с. 17].

«Бессмысленным шумом и гамом» назвал студенческие волнения в Москве и видный публицист А. С. Аксаков, который даже упрекал студентов в недостаточном уважении к науке [21, с. 60; 22, с. 394].

Осуждал студенческие волнения также один из самых прославленных в то время московских профессоров Ф. И. Буслаев, который находился в

отчаянии от известия об «избиении младенцев» на Тверской, закончившемся временным закрытием Московского университета. Однако он занял жесткую позицию неприятия порядков «эмансипации» учащейся молодежи от науки, превращения университетов в «политические арены» и попрекал университетскую администрацию за неграмотную позицию «заискивания» перед требованиями студентов [3, с. 356, 357].

Рассмотрим, чем закончились студенческие волнения 1861 г., которые подвели черту студенческому движению второй половины 50-х – начала 60-х гг. XIX в.

Из Московского университета были исключены «самые рьяные вожаки» [17, с. 42] – семнадцать человек, из С.-Петербургского – тридцать семь студентов [20, с. 82], остальные – наиболее активные участники конфликтов с представителями власти и войсками – по решению следственных комиссий допускались к занятиям: в Москве под подписку выполнять все университетские правила, в С.-Петербурге – под поручительство ответственных лиц и при обязательном условии получения матрикул.

Волна студенческих беспорядков прокатилась и по другим университетским городам. Но там они не достигли таких масштабов и не обрели такой остроты, как в столицах: предупрежденные из С.-Петербурга местные управленцы успели подготовиться к отпору студенческого натиска, действуя более решительно и дальновидно. К примеру, в Казани университет был закрыт восьмого октября, то есть за несколько дней до «Дрезденского сражения» в Москве и столкновения студентов с войсками в С.-Петербурге. Менее всего студенческие волнения 1861 г. коснулись Харьковского университета, где движение учащейся молодежи было обезглавлено в 1858 г. в связи с разгромом тайного политического общества [30, с. 189, 190]. Дерптский университет, развивавшийся совершенно обособленно от других отечественных университетских центров, «на немецкий лад»²², до самого конца XIX в. находился в стороне от общественного движения центральных областей России [2, с. 95, 97; 21, с. 65, прим. 1].

Министр просвещения Е. В. Путятин лишился своего поста, как и его незадачливые предшественники: А. С. Норов и Е. П. Ковалевский. Были смещены начальник штаба Корпуса жандармов и управляющий III отделением П. А. Шувалов, а также попечитель Петербургского университета Г. И. Филипсон; запятнавшие себя в общественном мнении генерал-губернатор П. Н. Игнатъев и обер-полицеймейстер А. В. Паткуль, руководив-

шие подавлением студенческих волнений в С.-Петербурге, были заменены другими лицами, способными расположить население столицы в пользу правительства [39, с. 68]; московский обер-полицеймейстер Крейц также утратил доверие императора и потерял свое место [21, с. 62].

Студенческие волнения содействовали обострению создавшейся в стране обстановки: они всколыхнули оппозиционные настроения в обществе [17, с. 57] и подтолкнули правительство внести в постоянно колеблющийся курс императора в отношении университетской политики существенные коррективы. Открытый протест студенчества в крупных городах, сочувствие к университетам учащихся других образовательных учреждений (включая военные) и офицеров, общественное раздражение, возбуждение и «шумиха» в прессе – побудили императора и его окружение осознать опасность открыто реакционных действий в университетском вопросе и вызвали необходимость использования более гибких и менее рискованных методов управления флагами высшего образования. В высших эшелонах власти произошло осознание того, что для вывода университетов из состояния кризиса [8, с. 180; 39, с. 68, 254] необходимо взять ориентацию на реформу. Правительство вынуждено было всерьез заняться подготовкой преобразований университетов, ускорить принятие нового университетского Устава, разработка которого, начавшаяся в 1857 г., явно «забуксовала». Все это можно рассматривать как своеобразную уступку царизма общественному мнению, влиянию либеральных и радикальных настроений, а также надолго оставшихся в памяти студенческих волнений [21, с. 69]. Позитивную роль в изменении шаткой, противоречивой позиции царской администрации в отношении университетов сыграло и то обстоятельство, что на некоторых крупных управленческих постах в 60-е гг. появились убежденные сторонники кардинальных преобразований в сфере просвещения: А. В. Головнин, Е. П. Ковалевский, Н. И. Пирогов, Г. А. Щербатов. Они глубже других представителей бюрократии осознавали болезненное отношение общества ко всем попыткам реставрировать худшие последствия контрреформ николаевского царствования: сокращение количества студентов, увеличение платы за обучение, подмену научного знания обскурантизмом.

Вместе с тем студенческие волнения, явившиеся грозным предостережением и возможным предвестником общенародной смуты, не могли не вызвать озабоченности властей намерениями не только их пресечь, но и полностью искоре-

нить. Этому должен был поспособствовать готовившийся университетский Устав, в котором не могло остаться даже микроскопического зазора для рецидивов «своеволия» студентов и любых их интенций выйти из-под контроля университетского руководства и полиции. В вызревании подобного рода настроений в верхах также повинны студенческие волнения. «После студенческих беспорядков, – авторитетно заявлял Б. Н. Чичерин, – менее всего можно было думать о том, чтобы ограничить права начальства [в новом Уставе. – М. Н., Т. П.] [17, с. 57]. Он считал «бессовестным искажением истины» все домыслы в прессе и фальсификации фактов в публицистике, сводившиеся к тому, «чтобы выставить Устав 1863 г. плодом господствовавшего... крайнего либерализма» [17, с. 57]. Ему вторит и В. Спасович, который утверждал, что уже 1862 г. провел «глубокую борозду» между «разгулом самых смелых надежд» и отказом от «всякого либерализма» [13, с. 25]. С. Ашевский с нескрываемой печалью констатирует, что «новый Устав... закрепил дело гр. Путятина... Все тяжелые жертвы, понесенные студентами в борьбе за академическую свободу, пропали даром» [21, с. 74].

Наконец, обратим внимание на то, студенческие беспорядки вызвали еще более осязаемый раскол в «ученом сословии». Если прежде противоречия между Московской и Петербургской школами ученых выражались только в профессиональной среде и затрагивали исключительно поле деятельности профессоров²³, то во второй половине XIX в. появились еще и более явные расхождения в общественно-политических взглядах ученых. Близкие в своем критическом отношении к бездарности министров просвещения²⁴, статусу самого Министерства народного просвещения²⁵, осознании неизбежности существования оппозиции между правительством и обществом²⁶, они стали заметно различаться восприятием рубежной для России эпохи конца 50-х – начала 60-х гг.²⁷, которая для одних отождествлялась с «хаосом», для других рассматривалась плодотворной почвой для осуществления Великих реформ. Отношение к студенческому движению заставило профессоров даже либеральной ориентации – близкой большинству университетских преподавателей тех лет [38, с. 161], размежеваться в два лагеря: умеренных либералов и радикалов, которые были внутри и Московского, и С.-Петербургского ученых сообществ.

С.-Петербургский университет к концу 50-х гг. превратился из оплота казенной науки в один из ведущих в России центров просветительства и

либерализма. В профессорской среде твердые позиции заняла группировка, принадлежавшая к левому крылу российских либералов. Ее лидером был К. Д. Кавелин. Н. И. Костомаров, А. Н. Пыпин, Б. И. Утин, игравшие в этой группировке наиболее заметную роль, находились в дружеских и родственных связях с Н. Г. Чернышевским и были подвержены его влиянию [17, с. 16]. А. Н. Пыпин – самый молодой из профессоров – был сотрудником «Современника», имел тесную связь с демократическими кругами и пользовался большим доверием у студентов. Революционная пропаганда была созвучна взглядам вышедших из разночинцев П. А. Ровинского, А. В. Петрова, И. С. Коперницкого. Преподаватели старшего поколения – к их числу принадлежал, к примеру, А. В. Никитенко, происходивший из крепостных, – придерживались умеренно-либеральной позиции и осуждали политику «красных» [8, с. 207].

Москва отличалась от С.-Петербурга большим консерватизмом [5, 403–406; 17, с. 25]. Умеренно-либеральные взгляды в Москве разделяло преобладающее большинство профессоров, невзирая на их происхождение, возраст, достаток: И. К. Бабст, С. И. Баршев, С. В. Ешевский, М. Н. Катков, П. М. Леонтьев, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин. В демократической прессе вся московская профессура получила название «консерваторов» [38, с. 179–182].

Через призму своих идейно-политических убеждений московские и Санкт-Петербургские профессора отныне были готовы обсуждать судьбу высшего образования в России и строить прогнозы в отношении нового университетского Устава. Если профессора С.-Петербурга решительно отстаивали идею самоуправления, «коренные изменения всего их внутреннего строя» [17, с. 52], то их московские коллеги с «возмущением» восприняли эти новые инициативы. Б. Н. Чичерин, например, был не прочь продолжать работу и по действующему николаевскому Уставу и поддерживал разработку нового лишь потому, что он должен был положить конец волонтеристским «стеснениям» начала 60-х гг. [17, с. 42, 43]. В полемике с Н. И. Костомаровым, ратовавшим за отмену корпоративного устройства университетов, он предлагал не «перестраивать их на новый лад», а «возвратить им должное значение», потому что, по его мнению, «университетам нужно не столько преобразование, сколько поддержка, а прежде всего нужны осторожность, уважение и любовь» [17, с. 52–54].

Заняв враждебную позицию друг к другу в вопросах оценки студенческого движения и до-

пустимости произвола властей по отношению к зачинщикам беспорядков²⁸, ученые двух столичных университетов, вместе с тем, начали сблизиться своим неприятием противоположных политических взглядов и особенно пропагандированного «красными» курса на радикализацию целей и средств борьбы с царизмом²⁹. Это заставило даже К. Д. Кавелина после 1862 г. примкнуть к умеренным либералам, то есть сильно «поправать» в глазах прежних «единоверцев», а среди студентов прослыть «консерватором» [18, с. 12, 13, 54; 34, с. 243, 251].

Что касается процедуры научного дискурса, следует заметить, что поиски научной истины отныне стали происходить в еще более резкой и непримиримой манере, так как взаимное неприятие профессоров двух ведущих российских научных центров получило дополнительное обременение в виде политических убеждений, поэтому ученые дебаты отягощались еще и нестыковкой социально-политических ориентиров оппонентов³⁰.

Таким образом, начавшееся со времени прихода к власти Александра II студенческое движение вызвало немало перемен в общественных настроениях, образовательной среде, интеллектуальной атмосфере России, и в этом смысле можно говорить, что оно подвело университеты к рубежу «глубокой внутренней перестройки» [38, с. 324].

Библиографический список

1. Аргилландер, Н. А. Виссарион Григорьевич Белинский (Из моей студенческой с ним жизни) // Московский университет в воспоминаниях современников / сост. Ю. Н. Емельянов. – М., 1989. – С. 97–101.
2. Боборыкин, П. Д. За полвека (Мои воспоминания) / под ред. Б. П. Козьмина. – М., 1929.
3. Буслаев, Ф. И. Мои воспоминания / Изд. В. Г. Фон-Бооля. – М., 1897.
4. Долгоруков, П. В. Петербургские очерки. – Pamфлеты эмигранта. – 1860–1867. – М., 1992.
5. Кавелин, К. Д. Наши недоразумения // Кавелин К. Д. Избранное / сост., автор вступ. ст., коммент. Р. А. Арсланов. – М., 2010. – С. 403–417.
6. Ключевский, В. О. Московский университет в письмах и записках // Московский университет в воспоминаниях современников / сост. Ю. Н. Емельянов. – М., 1989. – С. 420–435.
7. Никитенко, А. В. Дневник: в 3 т. – М., 1955. – Т. 1. 1826–1857.
8. Никитенко, А. В. Дневник: в 3 т. – М., 1955. – Т. 2. 1858–1865.
9. Писарев, Д. И. Наша университетская наука // Писарев Д. И. Сочинения: в 4 т. – Т. 2. – М., 1955. – С. 127–227.
10. Рождественский, С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. – СПб., 1902.
11. Скабичевский, А. М. Литературные воспоминания. – М., 1928.
12. Соловьев, С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С. М. Избранные труды. Записки / Изд. подг. А. А. Левандовский, Н. И. Цимбаев. – М., 1983. – С. 229–350.
13. Спасович, В. Пятидесятилетие Петербургского университета // Спасович В. За много лет: Статьи, отрывки, история, критика, полемика, судебные речи и проч. 1859–1871. – СПб., 1872. – С. 1–44.
14. Спасович, В. Ответ г. Юркевичу // Там же. – С. 45–56.
15. Феоктистов, Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848–1896 / под ред. Ю. Г. Оксмана. – Л., 1929.
16. Худяков, И. А. Записки каракозовца. Московский университет (1859–1860 год) // Московский университет... – С. 436–446.
17. Чичерин, Б. Н. Воспоминания. Московский университет / Вступ. ст. и прим. С. В. Бахрушина. – М., 1929.
18. Арсланов, Р. А. Константин Дмитриевич Кавелин // Кавелин К. Д. Избранное / Сост., автор вступ. ст., коммент. Р. А. Арсланов. – М., 2010. – С. 5–56.
19. Ашевский, С. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855–1863) // Современный мир: Ежемесячный литературный, научный и политический журнал. – СПб., 1907. – Август. – С. 19–36.
20. Ашевский, С. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855–1863) // Современный мир. – СПб., 1907. – Сентябрь. – С. 48–85.
21. Ашевский, С. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855–1863) // Современный мир. – СПб., 1907. – Октябрь. – С. 48–74.
22. Бороздин, И. Н. Университеты России в эпоху 60-х гг. // История России в XIX веке. Эпоха реформ. – М., 2001. – Глава VIII. – С. 376–401.
23. Господарик, Ю. П. «У него благородное сердце»: Граф Авраам Сергеевич Норов // Очерки истории российского образования: К 200-летию Министерства образования Российской Федерации: в 3 т. – Т. 1. – М., 2002. – С. 259–278.
24. Григорьев, В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. – СПб., 1870.
25. Джаншиев, Г. А. Эпоха Великих реформ: в 2 т. – Т. 1. – М., 2008. – Гл. III. Университетская автономия. – С. 343–393.
26. Жирков, Г. В. Век официальной цензуры // Очерки русской культуры XIX века: в 6 т. – Т. 2. Власть и культура. – М., 2000. – С. 167–264.
27. Захарова, Л. Г. Александр II // Российские самодержцы. 1801–1917. – М., 1993. – С. 160–215.
28. История России XIX – начала XX в. / под ред. В. А. Федорова. – 3-е изд. – М., 2002.

29. Капнист, П. Университетские вопросы // Вестник Европы: журнал истории, политики, литературы. – СПб., 1903. – Т. VI. – С. 167–218.
30. Лемке, М. К. Молодость «отца Митрофана» // Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. – СПб., 1907. – Январь. – С. 188–233.
31. Мироненко, С. В. Николай I // Российские самодержцы. – С. 91–156.
32. Петров, Ф. А., Гутнов, Д. А. Российские университеты // Очерки русской культуры XIX века: в 6 т. – Т. 3. Культурный потенциал общества. – М., 2001. – С. 124–199.
33. Пирогов, Н. И. Университетский вопрос. – СПб., 1863.
34. Розенталь, В. Н. Российский либерал 50-х годов XIX в. (общественно-политические взгляды К. Д. Кавелина в 50-х – начале 60-х годов) // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. / под ред. М. В. Нечкиной. – М., 1974. – С. 224–256.
35. Чернета, В. Г. Министр кануна Великих реформ: Евграф Петрович Ковалевский // Очерки истории русского образования. – Т. 1. – С. 279–318.
36. Чернета, В. Г. В эпицентре сухопутных штормов: Граф Евфимий Васильевич Путятин // Очерки истории русского образования. – Т. 1. – С. 319–334.
37. Эймонтова, Р. Г. Революционная ситуация и подготовка университетской реформы в России // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. / под ред. М. В. Нечкиной. – М., 1974. – С. 60–80.
38. Эймонтова, Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. – М., 1985.
39. Эймонтова, Р. Г. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. – М., 1993.
9. Pisarev D. I. Nasha universitetskaya nauka // Pisarev D. I. Sochineniya: v 4 t. – Т. 2. – М., 1955. – С. 127–227.
10. Rozhdestvenskiy S. V. Istoricheskiy obzor deyatelnosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. 1802–1902. – SPb., 1902.
11. Skabichevskiy A. M. Literaturnyye vospominaniya. – М., 1928.
12. Solov'yev S. M. Moi zapiski dlya detey moikh, a yesli možno, i dlya drugikh // Solov'yev S. M. Izbrannyye trudy. Zapiski / Izd. podg. A. A. Levandovskiy, N. I. Tsimbayev. – М., 1983. – С. 229–350.
13. Spasovich V. Pyatidesyatiletie Peterburgskogo universiteta // Spasovich V. Za mnogo let: Stat'i, otryvki, istoriya, kritika, polemika, sudebnyye rechi i proch. 1859–1871. – SPb., 1872. – С. 1–44.
14. Spasovich V. Otvet g. Yurkevichu // Tam zhe. – С. 45–56.
15. Feoktistov Ye. M. Vospominaniya. Za kulisami politiki i literatury. 1848–1896 / pod red. YU. G. Oksmana. – Л., 1929.
16. Khudyakov I. A. Zapiski karakozovtva. Moskovskiy universitet (1859–1860 god) // Moskovskiy universitet... – С. 436–446.
17. Chicherin B. N. Vospominaniya. Moskovskiy universitet / Vstup. st. i prim. S. V. Bakhrushina. – М., 1929.
18. Arslanov R. A. Konstantin Dmitriyevich Kavelin // Kavelin K. D. Izbrannoye / Sost., avtor vstup. st., komment. R. A. Arslanov. – М., 2010. – С. 5–56.
19. Ashevskiy S. Russkoye studenchestvo v epokhu shestidesyatykh godov (1855–1863) // Sovremennyy mir: Yezhemesyachnyy literaturnyy, nauchnyy i politicheskiy zhurnal. – SPb., 1907. – Avgust. – С. 19–36.
20. Ashevskiy S. Russkoye studenchestvo v epokhu shestidesyatykh godov (1855–1863) // Sovremennyy mir. – SPb., 1907. – Sentyabr'. – С. 48–85.
21. Ashevskiy S. Russkoye studenchestvo v epokhu shestidesyatykh godov (1855–1863) // Sovremennyy mir. – SPb., 1907. – Oktyabr'. – С. 48–74.
22. Borozdin I. N. Universitety Rossii v epokhu 60-kh gg. // Istoriya Rossii v XIX veke. Epokha reform. – М., 2001. – Glava VIII. – С. 376–401.
23. Gospodarik YU. P. «U nego blagorodnoye serdtse»: Graf Avraam Sergeyeich Norov // Ocherki istorii rossiyskogo obrazovaniya: K 200-letiyu Ministerstva obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii: v 3 t. – Т. 1. – М., 2002. – С. 259–278.
24. Grigor'yev V. V. Imperatorskiy S.-Peterburgskiy universitet v techeniye pervykh pyatidesyati let yego sushchestvovaniya. – SPb., 1870.
25. Dzhanshiyev G. A. Epokha Velikikh reform: v 2 t. – Т. 1. – М., 2008. – Gl. III. Universitetskaya avtonomiya. – С. 343–393.
26. Zhirkov G. V. Vek ofitsial'noy tsenzury // Ocherki russkoy kul'tury XIX veka: v 6 t. – Т. 2. Vlast' i kul'tura. – М., 2000. – С. 167–264.
27. Zakharova L. G. Aleksandr II // Rossiyskiye samoderzhtsy. 1801–1917. – М., 1993. – С. 160–215.

Bibliograficheskij spisok

1. Argillander N. A. Vissarion Grigor'yevich Belinskiy (Iz moyey studencheskoy s nim zhizni) // Moskovskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov / sost. YU. N. Yemel'yanov. – М., 1989. – С. 97–101.
2. Boborykin P. D. Za polveka (Moi vospominaniya) / pod red. B. P. Koz'mina. – М., 1929.
3. Buslayev F. I. Moi vospominaniya / Izd. V. G. Fon-Boolya. – М., 1897.
4. Dolgorukov P. V. Peterburgskiye ocherki. – Pamflety emigranta. – 1860–1867. – М., 1992.
5. Kavelin K. D. Nashi nedorazumeniya // Kavelin K. D. Izbrannoye / sost., avtor vstup. st., komment. R. A. Arslanov. – М., 2010. – С. 403–417.
6. Klyuchevskiy V. O. Moskovskiy universitet v pis'makh i zapiskakh // Moskovskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov / sost. YU. N. Yemel'yanov. – М., 1989. – С. 420–435.
7. Nikitenko A. V. Dnevnik: v 3 t. – М., 1955. – Т. 1. – 1826–1857.
8. Nikitenko A. V. Dnevnik: v 3 t. – М., 1955. – Т. 2. 1858–1865.

28. Istoriya Rossii XIX – nachala XX v. / pod red. V. A. Fedorova. – 3-ye izd. – M., 2002.

29. Kapnist P. Universitetskiye voprosy // Vestnik Yevropy: zhurnal istorii, politiki, literatury. – SPb., 1903. – T. VI. – S. 167–218.

30. Lemke M. K. Molodost' «ottsа Mitrofana» // By-loye: Zhurnal, posvyashchenny istorii osvoboditel'nogo dvizheniya. – SPb., 1907. – Yanvar'. – S. 188–233.

31. Mironenko S. V. Nikolay I // Rossiyskiye samoderzhitsy. – С. 91–156.

32. Petrov F. A., Gutnov D. A. Rossiyskiye universitety // Ocherki russoy kul'tury XIX veka: v 6 t. – T. 3. Kul'turnyy potentsial obshchestva. – M., 2001. – S. 124–199.

33. Pirogov N. I. Universitetskiy vopros. – SPb., 1863.

34. Rozental' V. N. Rossiyskiy liberal 50-kh godov XIX v. (obshchestvenno-politicheskiye vzglyady K. D. Kavelina v 50-kh – nachale 60-kh godov) // Revolyutsionnaya situatsiya v Rossii v 1859–1861 gg. / pod red. M. V. Nechkinoy. – M., 1974. – S. 224–256.

35. Cherneta V. G. Ministr kanuna Velikikh reform: Yevgraf Petrovich Kovalevskiy // Ocherki istorii rossiyskogo obrazovaniya. – T. 1. – S. 279–318.

36. Cherneta V. G. V epitsentre sukhoputnykh shtormov: Graf Yevfimiy Vasil'yevich Putyatyn // Ocherki istorii rossiyskogo obrazovaniya. – T. 1. – S. 319–334.

37. Eymontova R. G. Revolyutsionnaya situatsiya i podgotovka universitetskoj reformy v Rossii // Revolyutsionnaya situatsiya v Rossii v 1859–1861 gg. / pod red. M. V. Nechkinoy. – M., 1974. – S. 60–80.

38. Eymontova R. G. Russkiye universitety na grani dvukh epokh. Ot Rossii krepostnoy k Rossii kapitalisticheskoy. – M., 1985.

39. Eymontova R. G. Russkiye universitety na put'yakh reformy: shestidesyatytye gody XIX veka. – M., 1993.

¹ А. В. Никитенко упоминает о публичных лекциях, в том числе и об организованных специально в пользу нуждавшихся студентов, в записях 1858 г. [8, с. 41, 51].

² Он считает, что кассы взаимопомощи были «мертворожденным учреждением», которое нанесло «нравственный вред» товарищеским отношениям, так как «недостаточные студенты» оказывались в зависимости от членов правления, выделявшим им средства [29, с. 196–198]. Кроме того, он порицает и студенческие сходки, которые напоминали «сборища толпы, склонной действовать под впечатлением минуты и легко попадавшей под влияние более ловких вожаков, умевших склонить на свою сторону наличное большинство участников сходки», которое далеко не всегда являлось выразителем взглядов и интересов действительного большинства студентов университета, но принятые ими решения приобретали силу закона абсолютно для всех [с. 201]. По его мнению, общестуденческие кассы и библиотеки мало способствовали искреннему товарищескому сближению студентов, поэтому и просуществовали они недолго, распавшись из-за «полной бесхозяйственности... постоянной перемены распорядителей» и от непродуманных руководящих указаний для выборных лиц [с. 200, 201].

³ Термин Д. И. Писарева [9, с. 169].

⁴ Термин Д. И. Писарева [9, с. 136].

⁵ А. В. Никитенко сообщает о том, что долгое время пользовавшийся большим авторитетом в студенческой среде Н. И. Костомаров был вынужден подать в отставку, когда получил «более двадцати ругательных писем от студентов», которые к тому же угрожали «побить» его, если он останется в университете [8, с. 175, 273].

⁶ В изучаемое нами время в России создавались собственные научные школы и мировой славы были удостоены многие выдающиеся ученые: ботаник А. Н. Бекетов, гистолог и нейрофизиолог А. И. Бабухин, химики А. М. Бутлеров и Д. И. Менделеев, биолог И. И. Мечников, физиолог И. М. Сеченов, физик А. Г. Столетов, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, ученые медики Н. И. Пирогов и Н. В. Склифосовский, филолог А. А. Потебня и др. [32, с. 180, 181]. Поэтому, допуская мысль о том, что среди преподавателей могли оказаться ничем не примечательные на научном поприще ученые, безынициативно «тянувшие ляжку» в ожидании выхода на пенсию, мы не в праве бросать тень на всех представителей профессорско-преподавательского корпуса, добросовестно служивших науке и ниве просвещения, «обвиняя» их в неспособности увлечь учащуюся молодежь ученой и учебной деятельностью.

⁷ А. В. Никитенко сообщает о катастрофическом падении уровня образованности у студентов, отдававших свои предпочтения волновавшим их общественным проблемам, а не учебе. Присутствуя в апреле 1861 г. на экзамене по русской истории, он был поражен невежеством отвечающих, которое было бы непростительным даже для гимназистов. «Невежество их, вялость, отсутствие логики в их речах, неясность изложения превзошли мои худшие ожидания». А. В. Никитенко ненароком бросает тень на Н. И. Костомарова, читавшего курс по истории России, давая понять, что на его занятиях студенты обычно «умствуют о разных государственных реформах». «Прескверные» ответы экзаменовавшихся поразили его потому, что Н. И. Костомаров был «наиболее популярным» на историко-филологическом факультете преподавателем, что само по себе предполагало соответствующий уровень знаний его воспитанников. Однако учащиеся, как оказалось, не испытывали должной ответственности перед любимым профессором, которого они на лекциях «награждали одобрительными криками и аплодисментами», и явно уронили его репутацию в глазах коллег [8, с. 184, 591].

⁸ О том, что закон исполнялся, вспоминает А. В. Никитенко. В феврале 1858 г. выпускникам С.-Петербургского университета было запрещено собираться для чествования памятной даты его основания [8, с. 11, 15].

⁹ А. В. Никитенко, комментируя это распоряжение правительства, записал: «Есть проект переодеть студентов в обыкновенное общее платье, чтобы они были наравне со всеми подчинены общей полиции. Конечно, это облегчит университет. Но, с другой стороны, это уже совсем передаст этих бедных юношей во власть нашей грубой полиции» [8, с. 50].

¹⁰ В. О. Ключевский – выпускник Пензенской духовной семинарии, поступая в Московский университет в августе 1861 г., сдавал письменный экзамен – сочинение, экзамены по «русской словесности и закону божьему», истории и географии, математике и физике, латинскому и греческому языкам, немецкому и французскому языкам. Испытания шли день за днем, с 7 по 16 августа. С абитуриента потребовали

сразу же, вместе с подачей заявления об обучении, внести двадцать пять рублей за первый семестр [6, с. 420–423].

¹¹ А. В. Никитенко, не удивившийся отставке министра, полагал, что в университетском вопросе Е. П. Ковалевский «действовал по меньшей мере нерадиво. Университеты уже три года... падали в экономическом, учебном и нравственном отношении... Ковалевский точно боялся приняться за... дело [их улучшения. – М. Н., Т. П.], как бы из боязни нарекания, что он противится либеральному движению, если бы ему пришлось прибегнуть к какой-нибудь ограничительной мере в отношении студентов...» [8, с. 191]. Профессор С.-Петербургского университета также обвиняет Е. П. Ковалевского в том, что упадок университетов произошел по его вине: «Три года на глазах у Ковалевского совершаются вопиющие скверности – и он до сих пор не мог себе представить, что тут надо что-нибудь предпринять» [8, с. 184, 185].

¹² Членов комиссии И. Н. Бороздин охарактеризовал «главарями реакционной клики» [22, с. 389]. В составе комиссий были, к примеру, принц П. Г. Ольденбургский, генерал-губернатор С.-Петербурга П. Н. Игнатъев, бывший попечитель Московского учебного округа, «ультрареакционер» С. Г. Строганов, министр юстиции, «знаменитый своим обскурантизмом», В. Н. Панин, шеф жандармов В. Д. Долгоруков [20, с. 70, 68].

¹³ Б. Н. Чичерин утверждает, что в новых Правилах были и «хорошие распоряжения»: об уничтожении карцера и возобновлении деятельности профессорского суда для разбора студенческих проступков [17, с. 20].

¹⁴ Если прежде, к примеру, в Московском университете ежегодно освобождались от платы за обучение 150–200 человек, то по новому регламенту эту льготу можно было применить только к двенадцати студентам в С.-Петербургском университете и к восемнадцати – в Московском [20, с. 69].

¹⁵ Известно, например, что М. Ю. Лермонтов был оставлен на второй год за неуспеваемость в нравственном и догматическом богословии, греческом и латинском языках. А. А. Фет тоже не был прилежным студентом. Он получил единицу на выпускном экзамене второго курса по политической экономии и поэтому был оставлен на второй год. На третьем курсе он также обучался дважды из-за неуспеваемости по греческому языку. Оба известных поэта были студентами Московского университета в годы правления Николая I [1, с. 181, 240, 637].

¹⁶ Случаи исключения из университета в николаевскую эпоху были редкостью, но все же имели место. Так, в начале 30-х гг. из Московского университета был исключен В. Г. Белинский. Ему ставились в вину многочисленные прогулы, а также «безуспешность и неспособность» к слушанию лекций. Возможно, эти проступки студента усугублялись предосудительным содержанием его драмы «Дмитрий Калинин», которая не прошла цензуры [1, с. 100, 112, 623, 624].

¹⁷ Б. Н. Чичерин утверждает, что в С.-Петербурге издавались подпольные газеты, которые превратили университет в «центр политической пропаганды» [17, с. 15, 22]. О прокламации М. Л. Михайлова «К молодому поколению», которая содержала «пошлые революционные ругательства» [8, с. 208, 209], «призывала к истреблению не только царской фамилии, но и всех помещиков и высших чиновников», свидетельствуют не только А. В. Никитенко и Б. Н. Чичерин [17, с. 22], но и студент В. О. Ключевский [8, с. 427, 655]. Она была напечатана в Лондоне и привезена в Москву из С.-Петербурга.

¹⁸ «Дикие речи против властей» – так характеризует их ораторское мастерство А. В. Никитенко [8, с. 212], который не верил в возможность осуществить грандиозные перемены в России одними лишь радикальными средствами [8, с. 35, 176, 209, 225 и др.], осуждал общество, «расплывающееся в разрушительных поползновениях» [8, с. 231], презирал А. И. Герцена, пребывавшего «в восторге от студенческих историй» и призывавшего студентов «не думать о науке, а развивать пропаганду восстания» [8, с. 241].

¹⁹ И. А. Худяков отреагировал на это следующим образом: «Эта деспотическая привычка наказывать и миловать без суда и следствия... была по сердцу университетскому начальству... Негодование [студентов. – М. Н., Т. П.] увеличилось» [16, с. 443].

²⁰ «Мягкий и даже слабый», в оценке Б. Н. Чичерина, П. А. Тучков, заботился о том, чтобы «как-нибудь все уладить втихомолку и не дать разгореться скандалу» [17, с. 17].

²¹ По этому поводу А. В. Никитенко заметил: «Этот факт очень занимательный. Что скажут наши красные, призывающие народ к восстанию во имя прогресса и всяческих социальных совершенств?» [8, с. 230].

²² П. Д. Боборыкин писал о том, что «Дерптский университет... в пределах России... давал все существенное из того, что немецкая нация выработала на Западе». Только здесь – даже в «мрачное семилетие» – продолжали читать историю философии и все разделы науки любознательности; «семинарии» устраивали не только на медицинском, но и на словесном и юридическом факультетах; на всех отделениях приветствовалась и внедрялась узкая специализация наук. Здесь всегда сохранялись «умственные и учебные свободы», «студент не знал никаких стеснений» и, если не попадался на замечку за кутежные и дуэльные истории, мог совершенно игнорировать «всякую инспекцию» за его поведением. Его не заставляли ходить к обедне, носить треуголку, не переписывали на лекциях, а педели – соглядатаи студенческой жизни – контролировали только «уличную» жизнь юноши.

«Словом – замечает П. Д. Боборыкин, – для общеевропейского умственного роста... Дерпт как университет немецко-остзейского склада мог дать очень многое. Но для русского молодого человека с того момента, как наше отечество в 1856 году встрепенулось и пошло другим ходом, в стенах “alma mater” воздух оставался совсем чужим. Если бы... забыть о том, что там, к востоку, есть обширная родина и что в ее центрах и даже в провинции началась работа общественного роста, что оживились литература и пресса, что множество новых идей, упований, протестов подталкивало поступательное движение России в ожидании Великих реформ... то вы не услышали бы с кафедры ни единого звука, говорившего о связи “Ливонских Афин” с общим отечеством. Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на немецком Западе и в Прибалтийском крае, – вот какая нота слышалась всегда и везде» [2, с. 110, 111].

О пренебрежении дерптских студентов актуальными проблемами политического характера сообщает в своих письмах и В. А. Манасеин [30, с. 211].

²³ Сошлемся на выводы Р. Г. Эймонтовой. Она полагает, что «тип сухой, узкоспециальной учености в николаевское время пустил корни... прежде всего... в Петербургском университете». Здешние профессора противопоставляли себя московским и с пренебрежением относились не только к Т. Н. Грановскому и П. Н. Кудрявцеву, но и к С. М. Соловьеву и Ф. И. Буслаеву [38, с. 58, 59].

²⁴ Для сравнения возьмем А. В. Никитенко (С.-Петербург) и Б. Н. Чичерина (Москва), которые сходятся в оценке Е. В. Путятина.

А. В. Никитенко: «Граф Путятин не понимает многих вопросов и задач по управлению Министерством. Его идеи во многом очень странны, чтобы не сказать дики... Граф вообще ограничен. В голову его трудно вложить полезную мысль» [8, с. 210]. Б. Н. Чичерин: «...он невозможен: он не понимает ни нравственных отношений, ни общественного состояния. Он просто туп и вдобавок упрям» [17, с. 48].

²⁵ А. В. Никитенко: «Вот характеристика разных министерствований Министерства народного просвещения после Уварова: министерствование Шихматова – помрачающее; Норова – расслабляющее; Ковалевского – засыпающее; Путятина – оупляющее; Головнина – развращающее» [8, с. 310]. Б. Н. Чичерин: «Для того чтобы университетам дать разумное направление, необходимо прежде всего, чтобы управляли ими люди, знающие как университеты, так и состояние общества. Между тем в продолжении последних тринадцати лет [с 1848 г. – М. Н., Т. П.] у нас не было ни одного министра и ни одного попечителя (в Москве), который бы в этом что-нибудь понимал» [17, с. 38].

²⁶ Взгляды профессоров разных научных центров близки и по этому вопросу.

А. В. Никитенко: «Правительство с каждым днем теряет свой авторитет... В мыслящей части общества – одни по принципу ультралиберальных идей питают к нему ненависть; другие, готовые всячески примкнуть к нему, раздражаются многими мерами, изобличающими или неспособностью, или слабость правительства...» [8, с. 316].

Б. Н. Чичерин: «У нас правительство имеет такое преобладающее значение, оно в такой степени возвышается над обществом, что свобода мнений считается заслугой, а оппозиционная мысль всегда может рассчитывать на популярность» [17, с. 49, 50].

²⁷ Еще в 1919 г. историк Б. Э. Нольде заметил, что «между царствованием Николая I и Александра II лежит рубеж громадной исторической разницы. В начале царствования Александра II сложились все основные вопросы, составляющие содержание русской жизни нашего времени, наметились главные решения этих вопросов в политической, социальной и культурной жизни России... Здесь как бы прелюдия к будущей драме русской жизни... Мы начинаем узнавать новую Россию только в России на грани 1855 г., и только переходя эту грань, мы в новой России наших предков» [35, с. 279].

²⁸ В С.-Петербургском университете преобладающее большинство совета университета (29 человек) осуждали жесткие правительственные меры, направленные на разгром студенческого движения [17, с. 20]. «На стороне университетского начальства», ставшего рупором министерских распоряжений «по закручиванию гаек», было всего три профессора [17, с. 20], и среди них – А. В. Никитенко. Его позиция в отношении к студенческим беспорядкам проявляется в следующих строках: «Защищать поступки студентов я по совести не мог...» [8, с. 176]; «все точно объелись дурману. Все смотрят на студентов как на мучеников. Их дерзость, неповиновение закону и власти считают геройством...» [8, с. 231].

²⁹ По этому поводу позицию всех умеренных либералов хорошо выразил Б. Н. Чичерин: «Искренним либералам при виде... коммунистического движения остается поддерживать абсолютизм, который все же лучше анархии» [17, с. 21].

³⁰ Для примера приведем полемику А. Н. Пыпина с Ф. И. Буслаевым, которая приняла особенно острый характер, когда на стороне первого с язвительной критикой оппонента выступил Н. Г. Чернышевский [38, с. 181].

Широкую огласку получил случай с «трехнедельной пальбой» по учебнику уголовного права В. Спасовича, который, как «коммунист», был удостоен очень жесткой критики московской профессуры во главе с «консерваторами» П. Д. Юркевичем и С. И. Баршевым [14, с. 49, 52].